

Марина
ВОРОНИНА

Городец Нижегородской области

1

Когда бабушка умерла, земля под домом поднялась дыбом. словно дождавшись освобождения от надоевшей насельницы, испод стремительно прорастал всем, что веками таилось в придавленных недрах. Сквозь лопнувшие доски пола пробиралась наверх трава, таща следом комья смёрзшегося грунта, камни, слезавшееся тряпье, корни. Пахло холодом и смертью. Посреди громадной кухни горбатилось нечто монолитное, похожее на спину чудища.

Колоссальная печь, белоснежная от постоянной побелки, испёкшая тысячи шанег и рыбников, с неизменным горшком пшённой каши на теплых кирпичках, теперь раскололась, развалилась надвое. В груде извёстки и кирпичных обломков синела шербатая верхушка огромного валуна.

Дверь в комнату лежала далеко внутри, будто её выбило взрывной волной.

— Мне страшно, — прошептала Елена. Не понимая, куда и как поставить ногу, чтобы не провалиться, нужно ли здесь вообще двигаться, не утянет ли, она ухватила за рукав сестры. — Может, уйдём?

Татьяна не ответила. Внимательно и настороженно, точно минёр или сыщик, смотрела она на разгром. Было и страшно, и грустно, и неожиданно, и холодил восторг возможной схватки с чем-то, уничтожающим сейчас дом. Казалось, если она крикнет «эй, кто-нибудь, что происходит?» — горб чудища шевельнётся. И разлетится всё по сторонам вместе с двумя изумлёнными женщинами. Быть убитой издыхающим жилищем умершей сорок дней назад бабушки — не смешно ли? Прихлопнутой сосновыми половицами, которые они ребятянками, обучаясь хозяйничать, тёрли и намывали — не обидно ли!.. Всё, что творилось вокруг, оставалось вне какого-либо разума, только возмущало и притягивало, как манит ныряльщиков глубина.

С осторожностью, боясь не столько свалиться, сколько потревожить чей-то перерыв в раз-

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ



повесть

рушительной работе, Татьяна пробралась в бабушкину спальню. Кровати не было. На оголённых, но пока целых стенах не висело ни фотографий, ни знаменитой метровой косы, напоминавшей девочкам скальп из романов Майна Рида. Диван стоял на месте, даже с ящиками.

— Тяни, — Татьяна указала на него сестре.

— Боюсь...

— Заладила одно и то же, сорока! Тяни, говорю.

В запылённых ящиках отыскивались стеклянный гардеробный номерок с цифрой семь, модельная фоторамка и крохотная деревянная трубка, прокуренная до дыры. Татьяна понюхала. От трубки терпко несло вьёвшимся табаком.

Задрезжали оконные стёкла, словно их кто-то потряс. Деревья на улице стояли не шелохнувшись. Из распахнутой дверцы голландки вылетело пыльное облачко. Зев железной печи был забит грунтом, будто ей затыкали рот.

— Уходим. Стул возьми.

— Какой еще? — прошептала Елена.

— Вон, валяется.

За диваном лежал венский стул, с дырочками в отполированном многими задницами круглом сиденье. Схватив его, сестра помчалась обратно и буквально скатилась с задранной горизонтально коридорной лестницы.

Татьяна ещё постояла на пороге, запоминая картину разгрома. Какая-то неведомая сила уничтожала дом так мощно и яростно, что сомнений не возникало: здесь и сейчас уничтожается память. На некогда жилом, живом и даже знаменитом месте должна остаться только каменная земля. Горб дорастёт до скалы и окончательно задавит его, закроет навсегда.

«Где же ты нагршила, в чём напортичила, Екатерина Алексеевна?» — подумала Татьяна и неожиданно для себя поклонилась в пояс тому, что уже нетерпеливо ожидало её ухода. Стёкла дребезжали всюду, воздух потрескивал, от земли потянуло прелью. Трижды перекрестившись, она повернулась спиной и, с трудом сдерживая желание оглянуться, спустилась на улицу. Забрала у растерянной сестры стул и поспешила в сторону людей и машин.

— Чувство, что там никогда и никто не жил, — осторожно начала Елена. — Но ведь сорок дней! Месяц... Куда всё делось?

— Забрали. Есть кому.

— Старушечьи-то штмотки? У неё даже простенького телевизора не было. Книжки и разговоры за самоваром, и те — шёпотом. Может, бомжи разворовали?

— Спроси что-нибудь полегче...

— Нет, какие тут бомжи? Столько домов брошенных — живи в удовольствие. Я посмотрела — так прямо обезумела: улицы пустых гнилявок! Властям лень даже электричество в них отключить, что уж говорить, чтобы бульдозер прислали.

— Да, страшный город, — поддержала Татьяна.

Они шли по некогда центральной улице своего детства, мимо бывшего кинотеатра, бывшей школы, бывшего дома культуры. Пятиэтажные хрущобы слепо моргали застеклёнными балконами. Общественная баня была ещё жива, действовала, но кусты боярышника с китайками — бывший палисадник, где даже лавочка стояла, — давно усохли, и некому было сжечь в кочегарке кривые обвалившиеся стволы. Длинный бетонный мост зиял дырами, смещёнными плитами, выпавшими перилами и не рухнул пока в бурные волны только потому, что редко кто проходил и проезжал по нему. А когда-то он слыл инженерным достижением, тянулся далеко, километра на полтора, соединяя растёкшееся устье студёного Белого моря.

Женщины несли стул, на них никто не оглядывался. С моря привычно задувал ветер, пахло гниющими водорослями.

— Бомжи не могли, — продолжала практичная Елена. — Да и как бы они сунулись туда, где Борис хозяин, в принципе.

— Значит, сам Борис. Что подходящее — снёс в скупку, в металлолом, пропил. Остальное — на свалку.

— Стал бы он носить, на свалку таскать! А братья его младшие где?

— Померли.

— Камни эти... Слушай, может, подкоп делали? Искали ценности? Как тогда, у прадедушки. А что! Бабуля тот ещё фрукт была.

— Лен, какие глупости ты городишь. Там подвала никогда не было. Дом на сваях стоял, потому что внизу — мерзлота. И с чего ты решила, что — фрукт?

— Ну а как же! Помнишь, у неё народ всякий

топтался? Кто только не сидел за самоваром! Даже парни молодые приходили. И главное, хоть бы раз я кого-то знакомого увидела! Ходят и ходят, шу-шу да шу-шу... Один чаёвник — за дверь, другой — ему на смену. И всё по-тихому, как в больнице. Вот что это было?.. Сомневаюсь, выходила ли сама бабуля куда из дома?

— Скажешь тоже! Конечно, выходила. Забыла? Сколько раз мы после уроков прибежали, а к дверям батожок приставлен — нет никого.

— Ага! — обрадовалась Елена. — Батожок! Вот искушение, скажи! Дом открыт, одна только палочка сторожит.

— И однажды ты эту палочку отодвинула, — засмеялась Татьяна, вспомнив, как нетерпеливая, шустрая семилетняя Ленка, которую все называли «помело», не выдержала и убрала от входной двери сигнальный батожок.

Ужасно труся — то ли неизвестности, то ли внезапного возвращения бабушки, — девочки поднялись по лестнице. Девять гладких, стёртых временем ступеней.

Метров в шестьдесят — оттого полупустая, кухня была привычно строга, тиха и надраена. Блестел на солнце голый пол. Светилась свежей побелкой печь. Поставок с остывшими углями для самовара стоял на чистом железном листе, похожий на стражника в чёрном мундире. Ушастая кадлушка с водой покрыта деревянной крышкой, к уху, как обычно, прицеплен медный ковшик. Хозяин кухни — самоварище вместимостью два ведра, начищенный до зеркального блеска, венчал длинный дощатый стол, застеленный клеёнкой в мелкие розовые цветочки. Девочки пару минут постояли в дверях, оглядывая знакомое, хоть и редко посещаемое место. Им нравилось и одновременно не нравилось приходить сюда, где с ними мало разговаривали, но неотступно и строго приглядывали. Каждый раз бабушка учила делать что-то по хозяйству. Как мыть полы, как стирать собственные майки, елозя куском хозяйственного мыла по ребристой цинковой доске. Всё это было скучно, нудно, а заканчивалось традиционным чаепитием и молчаливым чтением книг. Внучки листали то, что принесли с собой, а бабушка Катя — «Приваловские миллионы». Книжка читалась и перечитывалась ею так давно и долго, что разбухши-

ми страницами обрела размеры фолианта. Имелись ли в квартире другие книги, кроме «Приваловских миллионов», они не знали.

До сих пор не понятно, для чего мама упорно посылала их навещать бабушку, а когда девочки жаловались — там скучно, сурово отвечала: терпите. И почему бабушка не противилась их приходу, принимала, кормила, оставляла ночевать. Ведь она никогда не радовалась им, не привечала. Из-за любимчика Бориса? Так он уже в который раз грел очередные нарры, семьи давно не существовало. А сентиментальной, умильной старушкой Екатерина Алексеевна никогда не слыла. Хотя и выглядела ею: маленькая, с круглым личиком, в светлом переднике на цветастой юбке, с теплыми ручками без двух пальцев на правой кисти.

Девочки сознавали, что мама с бабушкой друг дружку недолюбливают, мягко говоря, хотя ни та, ни другая никогда про это не произносили ни слова. На их памяти, мама побывала здесь лишь один раз.

Это произошло зимой. Татьяна помнит, что на маме было тяжёлое ватное пальто и отсыревшие от мокрого снега драповые бурки. Раздеться бабушка не предложила. Таня стояла, мама присела у порога на табуретку. О чём шёл разговор — она не поняла. В конце им завернули на дорожку пяток картофельных шанег, только что вынутых из печи. Дома мама выложила еще горячие шаньги на блюдо и воскликнула:

— Хоть режь, но больше всего на свете я люблю её шаньги!..

В квартире, кроме кухни — сосредоточия бабушкиных дней, имелись две комнаты. В узкой, навроде вместительной кладовки, жила то ли квартирантка, то ли наперсница, тетя Маша, молчаливая худая старуха в плотном платке старообрядки. Другая — просторная, с окном в полстены, отчего стена казалась стеклянной, как на веранде. От окна перегораживал комнату массивный стол с толстыми резными ножками. Девочки давно подсчитали, что поместиться за ним могли двенадцать человек, но у бабушки стояло всего два стула, один из которых они несли сейчас по городу. Стол явно был пришлым, из другой действительности, и, наверное, таил какие-то секреты. Но им никогда не удавалось хоть бы на маленько приподнять скатерть и рас-

смотреть столешницу, дабы убедиться в наличии других деталей, кроме круглых ножищ. В комнате дети никогда не оставались одни.

Была тут еще массивная этажерка со всякими мелочами, навроде коробок с пуговицами, набором спиц и веретенец, мотками овечьей шерсти, которую бабушка пряла, наверное, всей округе. Если она не пекла пироги, не пила с кем-то чай и не читала «Приваловские миллионы», значит, сидела за прялкой и накручивала на веретено мохнатые нити. Удивительно, но она никогда не связала внучкам и пары рукавиц. Тогда это почему-то не казалось странным или обидным. Даже мысли — не свяжет ли нам бабушка чего? — не возникало.

Всё, что делала баба Катя, как она жила, происходило параллельно их жизни с мамой — касалось опосредованно. Как бы часто Таня с Леной к ней ни забегали, ни оставались ночевать, ни подставляли головы под жёсткий гребешок, которым вычёсывались предполагаемые бабушкой вши, они оставались гостями. Дальними и, как скоро они поняли, бедными родственниками.

Север не располагает к явной нежности отношений. Их же баба Катя являлась исконной карельской поморкой. А те — что прибрежные валуны: сколько волны по ним ни хлещут, какие льды ни громоздятся, стоят себе вмёртвую, ни осколочка не отскочит. В суровом краю и люди суровые — известно.

Ни смеха, ни песен не разносилось по огромной кухне. И дети, прибегая, с порога превращались в оловянных солдатиков. Если бы не мамина южная кровь, не врождённая любознательность и способность нафантазировать что угодно, намывая посуду и глядя на свои кривые рожицы в самоварных боках, девочек к бабушке и волоком бы не затащили.

За столом прятался пружинный диванчик с откидывающимися валиками и ящиками понизу. У дальней стены — никелированная бабушкина койка, высокая от множества тюфяков под периной. Спала баба Катя практически сидя — такая гора подушек подкладывалась ей под голову. Над постелью — та дурацкая девичья коса. С чьей головы её срезали и почему, никто не объяснял. Икон Екатерина Алексеевна не держала, но, если поминала Господа,

крестилась искалеченной лапой на восток, а укладываясь спать, долго шептала какие-то молитвы, глядя в стену. На стенах висели фотографии отца с матерью и самой Катерины. И та, грудастая, с полной шеей, увешанная речными жемчугами, Катерина настолько не походила на нынешнюю бормочущую старушонку, что Тане всегда хотелось смеяться.

В тот раз, приоткрыв незвано дверь, девочки увидели то же, что видели всегда, и через минуту уже мчались в свой дом пионеров, где было гораздо интересней и веселее, чем в бабушкином гнезде.

Они расстались с неласковой бабушкой, с продуваемым прибрежным городом, тогда вполне ещё благополучным, на исходе семидесятых, как окончили школу. И возвратились через тридцать лет, получив запоздалое известие, что Екатерина Алексеевна «нечеча отдала Богу душу» и похоронена там-то тогда-то. Тридцать лет они даже не писали ей писем. А тут что-то торкнуло повзрослевших внучек. Спешно собрались и поехали. Успели к сороковому дню, аккуратно чтоб попрощаться, если не с телом, так с духом.

Никто их не встречал, поминок не устраивал. Вместе с бабушкой и город тоже, казалось, вымер. В редких прохожих сестры никого не узнавали, и на них никто не смотрел. Бросив вещи в привокзальной комнате матери и ребёнка, они явились к осиротевшему жилищу.

И увидели то, что увидели: дом уходил в землю вслед за хозяйкой. История, содержание которой, не считая случайных упоминаний, редких деталей, было для потомков вытравлено (нечаянно или нарочно, кто объяснит?), — завершилась.

Очень скоро, через полгода, на ещё живом куске земли, спрятавшем бывшее бабушкино жильё, вырастет супермаркет, скрыв под фундаментом даже очертания, самый намёк на существование здесь некоей точки мироздания. Узнав про магазин, сёстры подумают: гроша ломаного жалко дать за его безопасность. Их бы воля — обнесли бы это место оградой, оставили нетронутым, как есть, точно капище.

А пока они вернулись на вокзал и разложили захваченные трофеи.

— Зачем нам номерок? Куда сунем вонючую трубку? Чемодан табачищем пропахнет, — рассматривала их Елена. — Стул тащить через всю страну... Вечно что-нибудь выдумаешь, Танюха.

— Не верещи. Дотащим. Трубка наверняка отцовская. Тот ещё бродяга был, романтик-экспроприатор...

— Не валялась бы в диване чужая — факт. А рамка — кстати. Сунем туда деда!

— Прадеда, хочешь сказать.

— Ну да, Алексея Архиповича Няйтиева.

2

Рамка была стругана из дощечек и пропитана морилкой так качественно, что не расхлябалась и не потеряла глубокого орехового цвета, хотя сроку ей было лет пятьдесят, а то и больше. Сохранились и стекло, и гвоздочки с грубой бечёвкой для цепляния.

Фотокарточка бабушкиного отца хранилась в скудном мамином архиве. В затрёпанной бумажной папке с измахившимися тесёмками, которую дочери разбирали после похорон, лежала пара десятков снимков времён маминой запоздавшей юности. Вот она с одной подругой зимой у берёзы, вот с другой летом у входа в парк. Вот в подвязанных халатах и марлевых беретиках, живописная группа медсестёр и санитарок расположилась в больничной беседке: у ног распласталась горбунья, другие стоят в ряд, по-детски держась за руки. Везде мама самая приметная. И выше всех, и чернявее, и беретик самый кокетливый, и тень улыбки идеально очерченного рта наверняка заставляла трепетать многие суровые мужские сердца. И — никаких снимков предполагаемых родственников, никаких семейных застолий. Кроме старинной фотографии с фирменным оттиском: «Архангельск, 1916 год».

И без надписи на картонном обороте, что это Няйтиев Алексей Архипович, таможенник торгового порта села Сорока, женщины признали бы своего тридцатишестилетнего прадеда. С детства они видели это худое угрюмое лицо над бабушкиной постелью и прекрасно помнили, что из-под окладистой широкой бороды, сильно старившей Алексея Архипыча,

виднелся Георгиевский крест. Здесь Няйтиев запечатлён без креста, с пустыми погонами на гимнастёрке, в фуражке с кокардой. Он сидит нога на ногу, красуясь высокими опойковыми сапогами, и смотрит в камеру строго, надменно и недоверчиво. Дело ль делаешь, мил человек, под чёрной накидкой аппарата?..

Сёстры помнили, что из своей краткосрочной семейной жизни мама чаще всего и, главное, с удовольствием вспоминала именно дружбу с дедом, заменившим ей и свёкра, и отца.

Последние годы старик жил в одиночестве, отослав жену Дарью окончательно к дочери в город. Ни слова, ни понятия «развод» в глухих поморских селениях не существовало, но это был именно развод и, вероятно, такой же суровый, как сам Алексей. В сохранившихся письмах с фронта сына его Изота, погибшего в Румынии в 1945 году, нет и слова приветствия бате. Значит, тот уже тогда жил бобылём, а ведь прожил после Победы ещё пятнадцать лет.

«Нётти» в переводе с карельского значит «красавчик». Фамилии и прозвища попусту не дают. Это всегда метка, по которой угадывалась в человеческом стаде особь. Из-за лопатистой бороды и всегдашней хмурости признать в Алексее Архипыче красавца было затруднительно, но это с какой стороны смотреть и какими мерками мерить. Вероятно, мама смотреть умела. Полюбому, во взаимной симпатии нелюдимого старика и залётной украинской красавицы Оксанки, жены его внука, усматривается сродство душ. Вроде того, что свой свояка видит издалика.

Оксанка была единственной, кого он пускал в дом. И она единственная, кто сумел туда войти, когда дед умер.

Дикого нрава лайка, няйтиевский охранник и сообщник, кидалась к двери на малейший шорох, готовая разорвать каждого, кто осмелится потревожить хозяина. В окно видели, что Архипыч помер за столом, окаменев перед миской с тюрей. Неизменный его обед: покрошенный в миску с водкой ржаной хлеб и репчатый лук.

— Всё как не у людей, водку и ту ложкой хлебает, — рядили по деревне.

Пристрастие деда к адской смеси и тогда удивляло мужиков, возмущало баб, а нынче в такое вообще поверить сложно. Но легенда утверждает: ел тот исключительно тюрю на водке.

Сидел Архипыч сутки, а то и дольше, пока не догадались послать за Ксанкой. Три часа до города тюрхала сельсоветовская телега, три — обратно. Но, получив весть, невестка не мешкала. Как была в медицинском халате и тапочках, так со смены и поехала, только что швабру в закуток убрала.

Ксанка смело, не раздумывая, толкнула плечом тяжелую дверь и скрылась внутри. Уж собака визгу подняла, уж она каталась по полу от счастья, что явился главный человек и освободит их с хозяином от стылых оков смерти. Оксана прицепила пса в дальней кладовке, пообнимала, пошептала и наконец выпустила народ.

Гроб, как заведено у серьёзных людей, давно дожидался на чердаке, обитый чёрным сатином и устланный стружками. Похоронили Няйтиева в тот же день, на закате. Лайка исчезла неведомо куда. Оксана заперла хату и вернулась в больницу.

Дарья с дочерью не спешили ехать в деревню принимать наследство. Не лежала душа входить в пропахший махрой и спиртом дом, откуда они были изгнаны много лет назад. А когда явились, дома уже не было.

— Батюшки святы! — крестилась вдова на груду брёвен.

Рослая, с топорно скроенным, закоричневшим от времени, но все равно чем-то неуловимо прекрасным, будто деревянная икона, лицом, она стояла перед тем, что когда-то называлось семейным гнездом. Ветер трепал по ногам старого льна юбку, срывал с головы постарообрядчески повязанный плат.

Сосновый, длинный, с высоко рубленными окошками, чтобы зимой не заваливало снегом; с острой, опять же от снежной тяги, двускатной крышей, дом строился специально для молодых. Двадцатипятилетний Алексей, счастливо избегнувший русско-японской бойни, вложил в него все заработанные на таможене деньги. Строиться на берегу, как все, не пожелал.

— Не рыбак я, — нехотя объяснял он, почему ставит дом наособь, ближе к тракту, метров за триста от деревни.

И хоть правда не рыбачил Няйтиев, другим прикормом жил, не поверили, видать, мужики.

— Золотишко, баю, прячет, — нащёптывал в уши Федька Евтифеев. — Внутрях плотничать не дозволил, прогнал. Сам-от! А мы чё, видим разе, чё он на отшибе сам-от делает?

— Небось, приворовывает со шнек да карбасов, чё говорить. Сколь с Груманта товара запрещённого ташат.

— И приворовывать не надо, купчишки сами отдадут. Аль забыли, как забрали бот у Шамалуева? На мысе Бережнуха пост таможенный, так он хотел мимо шмыгануть, с норвежским ромом в трюме. Ну и задержали, известно. Ему бы сунуть солдатне бочонок, а он ярится: я-де купец первой гильдии, делиться с захребетниками не желаю, и такое прочее. Всю контрабанду забрали и улов, и бот, да штрафу еще сколько написали. Тронулся-от Шамалуев от такого горя и несправедливости...

Сказка про няйтиевское золото ходила по деревне, а вернее — тишком ползала, дабы Архипыча не озлить, до самой его смерти. И то, что старик презрел вступать в колхоз (без меня сопливьтесь в «Батраке» своем, сказал), но чем-то жил, из каких-то средств покупал ту же водку, только укрепляло подозрение земляков — точно, имеется золотишко!

Подождав Дарью с неделю, мужики не выдержали. Влезли внутрь и вначале скрытно, по ночам, рылись в дедовом подполье, простукивали стены. То ли не нашли ничего и потому рассердились, то ли нашли да следы скрывали — никто же потом не признался, не повинился, — но пришли ватагой днём, с ломami и гвоздодёрами. Разнесли дом, только груда ещё крепких брёвен и самодельная мебелишка, сваленная кучей в стороне, достались Дарье от мужа. Та шум поднимать не стала, по дворам не пошла. Вывезла всё подводой в город — дочери на дрова.

А место до сих пор нетронуто осталось, сгнившими до сухой зелени колышками отмеченное. Растёт в зарослях жёсткой поморской травы берёза, пошевеливает вислыми ветками, будто неустанно отпевает кого-то, горюет, уговаривает.

Дыма без огня не бывает. Няйтиевское золото существовало. Только сам старик об этом слыхом не слыхивал...

— Да, как раз для деда рамка, — решила Елена.
— Не пообедаешь ли, сестрёнка?

— Да нет буфета. Кого кормить? Пассажиры мимо нас пулей проскакивают, — зевнула дежурная по вокзалу.

— А мы как же приехали? Не поездом разве? — резонно усомнились вокзальные постояльцы.

— То-то и оно. Кто — сюда — ещё остановят, высадят, а ради тех, кто — отсюда, — не тормозят. Звонишь раз по десять, надоедаешь, что билеты проданы.

— Но почему? Это же узловая станция! Здесь порт. Лесопильный завод, в конце концов. Как могут поезда не останавливаться на таком объекте?

— Вспомнили! Нет давно завода. И порта нет. Пяти морей... Эх, рыбу знатную там коптили — обеды. Особенно беломорочка хороша была. А песцов каких на зверофермах разводили! Доски за границу продавали!.. Всё было. Только вот кончилось однажды. Раз — и пусто. А вы здешние, что ль? Не похожи.

— Родились тут, да.

— А я сюда соплюшкой после техникума заступила. Думала — повезло, на серьёзное место попала. Грузовые составы на запасных в очередь отправку ждут. Почтово-багажный по два часа оформлялся, столько корреспонденции всякой. С этакой станции да карьеру не сделать? А оно вишь как повернулось... Распродали город чёрт-те кто и кому. Ничего нет. Кроме магазинов. Вы сходите, купите чего поесть. У меня разогреете. А нет — так ресторан где-то там открыт, «Европа» называется.

— А как же мы назад?

— Посадим! Но, чтобы без нервов, лучше автобусом. Если недалече ехать. А так — посадим, куда ж мы денемся! Какая-никакая, а станция пока ещё, — и дежурная рассмеялась, демонстрируя редко стоящие золотые коронки в широком напояженном рту.

«Европой» оказалась бывшая столовая лесозавода. Притемнённый интерьер скрывал огрехи дешёвой отделки. На стекле, защищающем бордовую скатерть, просматривались следы фужеров и пролитых жидкостей.

— Не буду я это есть! — отшвырнула Елена меню. — С ума сойти, сколько стоят у них

«вручную слепленные пельмени с нежнейшим мясом молодых бычков»!.. Хотя бы не так нагло ввали. Купили оптом по акции в магазине, а продают за эксклюзив шеф-повара.

— Выберем что-нибудь нейтральное, — примирительно сказала Татьяна. — У меня же таблетки, всухомятку нельзя.

Солянку, впрочем, подали вполне съедобную и щедро густую. Было два часа пополудни. Серый день за окном отличался от минувшей ночи только слегка поголубевшим небом да шумом проезжающих автомобилей, заглушавшим шум реки на скальных порогах.

В ресторан ввалилась компания весело взведённых молодых ребят, веселящихся, видимо, с утра, с первой похмельной стопки. Громко, точно оглохшие, переговариваясь, они проследовали в дальний угол. Все одноцветно-серые, тощие, с ореолом голодной немытости. Усмотрев в руках одного полуторную бутылку минералки, официантка заверещала:

— Нельзя со своим! Уберите, не стану обслуживать.

— Ты чё, коза! Это газировка.

— Знаю, какая такая газировка! Градусов шестьдесят, не меньше?

— Нюхай, кувырла, — отвинтил крышку долговязый парень в резиновых сапогах. — Чё, убедилась?.. Тащи-ка лучше жрать. Ну и графинчик тоже.

— Два графинчика! — засмеялась компания, с шумом рассаживаясь.

— ...Как думаешь, что это за номерок? — крутила Елена стеклянную бирочку с выжженной чёрной семёркой. Совершенно не типичный предмет для бабушки Кати. Культурной жизнью не увлекалась, в гардеробах не раздевалась. Может, из поликлиники? Случайно же попасть он в диван не мог.

— Или это чья-то память.

— Чья?

— Мамина. Есть история, как они с отцом последний раз ходили на танцы.

— Не помню такую историю.

— Ты крохоткой была, когда она рассказывала. А я уже в третьем классе училась. Запомнила.

— Тебе повезло, — с привычной завистливостью протянула Елена. — Сколько она тебе

всего понарасказала! Я только слушаю и дивлюсь, будто в чужой семье росла.

— Уж куда как повезло... Все дети давно в постелях лежат, а десятилетняя Таня полы в школе моет... Мне думается, этот номерок имеет отношение к тебе.

— Как это?!

— А вот как. Секунду... Девушка, можно вас? — подозвала она официантку. — Принесите, пожалуйста, стакан кефира или молока.

Девушку заказ явно обескуражил. «Вечно эти приезжие что-то удумают», — читалось в недоброльном всем на свете взгляде.

— Кефира или молока? — тянула она, пытаюсь угадать, кто эти тётки, не опасны ли, не проверка ли какая.

Полная, с коротким ёжиком седых волос, явно смахивает на начальницу. Вопрос — чью? Другую, худую, с уложенной рыжей прической, в серебряных перстнях и браслетах, тоже можно принять за кого угодно.

— Ну да, молока, — подтвердила седая.

— У нас такого нету. Это в магазине надо.

— Тогда молочный коктейль.

— Э... Коктейля тоже нету, — мучилась официантка.

— А мороженое есть?

— Мороженое есть! — моментально взбодрилась та, взяла карандаш на изготовку и гордо перечислила: пломбир, ванильное, фисташковое, с шоколадом, с фруктами, с коньяком!

— Пломбир без ничего.

— Шоколадной крошкой посыпать?

— Без ничего.

— Собираешься мороженым заесть таблетку? — потешалась Елена, глядя, как мчится на кухню освободившаяся от непонятных просьб официантка.

— Подожду, когда растает.

— Надо было с собой кефир захватить.

— У них нельзя со своим, ты же видишь, — махнула Татьяна в сторону парней, уже открыто разливавших «газировку» по ресторанным рюмкам, и сёстры расхохотались. — Так вот про номерок. Мама на сносях была, два месяца оставалось тебя донашивать. И пошли они с папой Борей на танцы...

3

Борис был, конечно, дамский угодник и по женской части большой ловкач. Чем их брал — неизвестно. Сам в точности не понимал, почему женщина — простая или мужняя, красавица или так себе, — соглашалась хоть в кино, хоть в постель через несколько часов общения. Конечно, в разговор с дамами он вкладывался, как мерин в борозду, не жалел ни слов, ни улыбок, ни света в глазах, ни времени, ни обстоятельств. Ареной становилось всё, где он заставлял зацепившую его внимание прекрасную особь. Очередь в аптеке? Пусть. Знакомство на улице? Отлично. Застолье? Ничего проще. Хоть вся семья стеной загороди предмет, но если Боря решил — предмет будет принадлежать ему. Одно слово — вор-домушник.

Включалось в нём что-то при виде женщины. Не желание — больше. Словно он обязан, призван душевно потратиться на Машу-Нюру-Дусю, что-то отдать им, оделить, вернуть. И поэтому в каждую — собирался или нет — влюблялся. Пусть на два часа короткого ухаживания, но влюблялся, как заговорённый. Не для себя опять же, для неё. Загорался влёт, но и затухал легко, выполнив миссию. Освобождал себя для следующего любовного переживания. Покидал арену так, чтобы женщина о нём вспоминала, по возможности, без ненависти и вёдер выпланных слёз. Чему, кстати, невзрачная внешность его весьма способствовала. Понервничав на ветреного кавалера, женщина всегда могла утешиться: «Не очень и нужен такой уродец, получше найдём!»

Кошелев Борис роста был чуть ниже среднего, курносый, тонкогубый, с продавленными, как у матери, светло-серыми глазами, всегда поблёскивавшими презрительным холодком — дескать, ну и мурло вы все, мимо ходящие. Залысины тонких волос преждевременно оголили круглый аккуратненький черепок. При моде на вихры и шевелюры реденькая причёска Бориса не красила, зато придавала солидности.

Он с детства профессионально промышлял домушничеством. В жилища влезал не от стечения обстоятельств, когда нужда припёрла. И не по причине хулиганского куража, которое толкает на проступки и преступления от самого се-

бя не ожидаемым чихом. Нет. Каждая акция продумывалась, планировалась, вдохновенно подготавливалась; вычерчивался маршрут выноса чужого добра, место схрона, схема сбыта. Строго соблюдался принцип: там, где живёшь, не гадить. И потому соседи Кошелевых, зная или подозревая о его воровском промысле, ни разу парня куда надо не сдали. А зачем? Сдашь своего придурка, явится чужой. А так и договориться всегда можно, и защиты попросить, а уж за собственные замки точно не беспокоиться.

Конечно, с бабами он своими профессиональными делами не делился, при знакомстве вором не представлялся. Не потому, что нельзя или стыдно. Подобные чувства он вряд ли испытывал. Не потому также, что опасался бабьих языков или собирался кого-то из них использовать в нужных целях. Ни в коем разе, баба — это десерт жизни, её для другого занятия беречь требуется. Обе пламенные страсти — воровство и любовь, он старался не смешивать, наслаждаясь каждой в чистом виде. Но домушничество, практикуемое с детства, всё-таки наложило отпечаток на его и без того непримечательную внешность. Быть неброским и незаметным в толпе, не опознаваемым случайными свидетелями входило в набор его преступных инструментов наравне с отмычкой. И женщина, вдруг бесследно покинутая пылким обольстителем, скоро благополучно забывала, как он, собственно, выглядел. И, встретив на улице (чего он старался всё же не допускать), узнавала не сразу.

— Что и требовалось доказать, — удовлетворённо хмыкал Борис, когда недавняя пассия смотрела в его сторону припоминая, но отчуждённо.

Тогда, через шесть лет после бойни с гитлерюгами, восемнадцатилетний Кошелев ходил в авторитетах. Золотые дни воровской шпаны!

Город, венчающий длинный, самый длинный в мире путь сталинского Канала, всегда был заполнен войсками НКВД. На время военных действий он был набит ими под завязку. Мало того, что усиленно охраняли Беломорско-Балтийский путь, так ещё и орду властей, вывезенных из оккупированной столицы со всеми республиканскими архивами. Фронт давил сверху и снизу. Слева — враждебная Финляндия. Справа — студёное море. Городок поневоле обрёл статус

прифронтовой столицы. Не только воры — невинные пьянчужки самоистребились на это суровое время. Зато потом!..

Когда гитлерюг погнали по Европе, замороженный городок встряхнулся и началось мощное производственное возрождение. Консервированные цеха, доки, платформы, фермы, дороги ударно заработали на восстановление народного хозяйства государства. Укрупнялся торговый порт. Развивалась рыболовная база. Загрохотал деревообрабатывающий завод. Вернулись из эвакуации жители. Привезли назад спрятанных по лесам бывших заключённых, возводивших до войны сталинскую гордость. Канал заработал, а строителей расконвоировали, но разъехаться не позволили, превратив тут же в вольнонаёмный обслуживающий персонал.

Городок естественным порядком наводнился таким количеством разнокалиберной публики, воруя прежде всего, что НКВД поднял руки: сдаёмся! Делайте что хотите, только объекты хозяйствования не трогайте. Иначе стреляем на поражение. К таким, как Борис, вольность пришла небывалая. Преступный оборот настолько убыстрился, что нередко пропавшее платье хозяйка видела уже третьего дня на дамочке, купившей его законным путём «вчера на рынке или даже в магазине». Милиция замучилась составлять протоколы «по факту обнаружения украденных вещей».

И тут беспринципный и осторожный Борис вдруг решает обзавестись статусом законопослушного гражданина: «прогуляться до армии». Концы какие-нибудь отсекал или что почуял, или просто отдохнуть решил — не рассказывал. Но на полном серьёзе отдал три стройба-товских года родной Отчизне.

Биография Кошелева, как и его невзрачная внешность, полна противоречий и несовместимостей. «Особо опасный рецидивист» имел трудовую книжку, где основной профессией значился «плотник». Вписан там ещё «стрелок 1-го класса команды ВОХР», уволенный через полгода за «употребление спиртных напитков на рабочем месте». И это после двадцати лет отсидок в колониях разного режима. Может, книжки были липовые, а может, и нет, но было их числом три.

Подлоги, враньё, скрытность, лихачество, внезапные порывы благородства и доброты, способность красиво оболыщать и умение хладнокровно убивать перемешались в Кошелеве, как карточная колода. Но одна карта в ней оказалась не краплёной, а потому битой: любовь к Оксанке.

Мама была много старше его — на целых восемь лет, выше на голову. Красавица украинской породы, возле которой любой мозгляк превращался в добра молодца, потому что невозможно быть приближённым и при этом не стать добрым молодцем.

Общее прозвище «каналоармейка» не прилипало к ней, хотя именно каналоармейкой она и являлась. Но об этой части биографии разговор особый. Главное, что на момент встречи с Борисом Оксана уже лет пять жила вольным человеком, восстановленным во всех правах, и единственное, о чём болела её душа, — о нерождённых детях. Чудовищные будни пробиваемого в скалах судоходного канала, не особенно и пригодившегося стране, загубили женское здоровье. Но вдруг столкнулись две личности, мало подходящие друг другу, и выскли две искры: Таню и Лену, сидящих сейчас в убогом ресторане не справившегося со своей миссией города и разглядывавших цифру семь на гардеробном номерке.

— ...О, краля! — толкнул Бориса локтем дружан Костик Воробьёв.

По дощатому тротуару навстречу им шла раскрасневшаяся от мороза молодка. В чёрном суконном пальто, толстом платке, намотанном на голову с воротником вместе, в ботиках на резиновом каблукке. Она спешила, мелко и быстро семена по утопанному снегу, и, боясь поскользнуться, неотрывно смотрела под ноги.

Борис дёрнул дружбана в сторону. Провалившись в сугроб по колени, они пропустили мимо так и не заметившую их кралю.

— Зря! — посмотрел вслед Костик. — Можно было поручкаться. Дорожка узкая, куда бы она делась?

— Не зырь. Не твоё.

— Чё, уже присвоил? Ну, ты и хват. Только где ж ты её отыщешь? Упорхнула птичка.

— Моя забота.

— Валяй, — с досадой согласился Костик.

Спорить с Кошелем, тем более тянуть на себя что тот присмотрел, мало кто решался. Вернувшись со службы, Кошель без просьб и лишних обсуждений вернул лидерство в шайке, спровадив в отставку пришедшего, но жестокого любителя помахать ножом, Гошу Редкина. Пока прежний жоак отсутствовал, спокойная воровская компания постепенно превратилась в разбойничью. Некоторым это нравилось. Но большинству хотелось, как прежде, нормально жить в родном, пусть и периодически обворовываемом ими городе, ходить без оглядки, жениться, кому-то даже работать, в угоду родственникам.

— Гуляй, — холодно посоветовал двадцатитрёхлетний Борис сорокалетнему громиле Гошику, явившись на стрелку в двубортном фарсовом костюме и белой рубаше. — А вы чего варежки разинули? Шагайте следом! — и пошагал развалочкой на бережок проставиться за возвращение.

— Сквитаемся! — пригрозил опозоренный Гошик. Но не успел. На следующий день его увидели висящим на фонаре в центре городка, в петле, сделанной из армейского ремня Кошеля...

Дамочка с тротуара, внезапно задев чужное сердце Бориса, с каждым днём всё глубже в нём отпечатывалась. Казалось, что сердце треснет, столько в нём было теперь этого дурацкого, как у старухи, платка, грубых варежек, чулок цвета жухлых листьев. А ноги? Он вспоминал длинные гладкие икры и поскрипывал зубами.

Отыскать молодку труда не составило. Кошель не поленился один из свободных дней провести, устроившись на валуне вблизи той самой дорожки. Со стороны не светился, но сам видел всё и всех. К вечеру дамочка появилась. Шла, всё так же закутанная, поддерживаемая под локоть каким-то хлыщом. Борис проследил их путь. Сквозь неплотно задёрнутые занавески убедился, что барак, в который они вошли, её квартира.

Когда она размоталась и сняла тяжёлое пальто, голова Бориса чуточку закружилась. Женщина была совершенна, как актриса. Прямая спина, гордо вздёрнутый подбородок, брови вразлёт, крупные белые зубы. В низких лацканах тёмного костюма виднелась потрясающая грудь. Не сама грудь, конечно, а только блузка, но под гладким шёлком, под ленточным бантиком уга-

дывалось роскошество, убедившее парня завоевать эту красотку чего бы ни стоило.

Красотка поправила волосы, чёрными кудрями спускавшиеся на воротник и открывающие крупные уши, с которых не свисало серёг. Прижалась к своему то ли мужу, то ли хахалю, и Борис спрыгнул с завалинки. Смотреть дальше было неинтересно.

Первый пункт программы завершён. Барышня отыскалась. Никуда она теперь от него не денется. Завтра можно приступать к пункту два: знакомству. Третий и четвёртый пункты обозначатся по ходу дела. Кто знает, может, ещё придётся свернуть весь план действий. Может, не захочется ничего дальше. Может, краля эта на самом деле — тупая курица, не стоящая его внимания и усилий. Перепихнуться есть с кем и без неё. Так пытался думать Борис, чуя нутром опытного обольстителя, что ничего не свернётся, а, наоборот, развернётся, и финал ещё не начавшейся истории ему не предугадать. Но он обожал опасности, риск, игру и потому еще сильнее пожелал эту женщину.

С самого начала всё пошло не так. Сколько бы Кошелев ни попадался на пути, она его не замечала. Просто-напросто не видела. Он и здоровался, и время спрашивал, и комплименты отпускал, и след в след ходил. Бесплезно. Каждый раз она отвечала что-то невнятно-беглое и безразлично плыла мимо, поскрипывая ботами. Борис растерялся. Быть пустым местом ему ещё не доводилось.

«А чего мы такие фифы? — произносил он монологи, ворочаясь без сна на постели. — Что из себя воображаем? Ну, симпатичная — признаю. Шмотки как надо прилажены. Интересно, где она барахолится? Не шибко санитарки в больницах зашибают, чтобы такие жакетки носить. Поломойка! Из одного барака в другой перепрыгнула, а нос воротить?!»

Он вспоминал белую бязевую косынку, повязанную на затылке, закатанные валиком рукава и стонал: «Вот же стервоза!»

В безразмерном халате санитарки, с обтрёпанными завязками на спине, подпоясанная кушаком, Оксана Михайленко казалась соблазнительнее, чем в киношном костюме с бантом. Добавлялось теплое ощущение податливой ласковости «сестрички», и это будоражило.

Практически всё теперь про неё Кошелев знал. Кроме одного — как молодая хохлушечка попала на великую северную стройку. В его среде заказано интересоваться скользкими деталями чужой биографии, но всё равно не понятно. Выходит, девчонка оказалась здесь лет в десять. За какие же грехи? Малолеток на канал не пихали, родичей у неё, похоже, никаких не имеется. Странная ситуация. Плевать. Что он — следователь?.. Всё в прошлом — взрывы, гранаты, война. Мирная житуха вокруг, воля вольная — пользуйся, коли сила есть! Судя по хахалям, сил в этой санитарочке немерено!

В конце концов, он заставил Оксану с ним познакомиться. Пришлось, правда, в больнице дуриком поваляться, зато уж там она от него не отвертелась! Всё, что мог и не мог, вывернул из себя парень, чтобы увлечь, заинтересовать, понравиться, запомниться. Когда она смеялась, отворачивая к плечу скуластое лицо, его кожа покрывалась мурашками. Когда заглядывала по утрам в палату и громко, сверкая карими глазами, шептала: «Борис, я здесь, выходи», — его сердце ухало, точно по спине ударяли поленом. Выписываясь, он предложил Оксане выйти за него замуж. Попросил, точнее.

— Что? — удивилась та.

— Замуж. Давай вместе жить.

Вытащил из портсигара папиросу, постукал по кулаку, табак высypался.

— Ты же одинокая, я знаю. — Борис отшвырнул пустую бумажную гильзу. — За мной как за пазухой жить станешь. Я фартовый, так что...

— Шутишь, парень? За кого меня принимаешь? Потравил анекдоты и право заимел — так, что ли? — спрашивала она незнакомым голосом, в котором слышались и гнев, и насмешка, и бог знает что ещё, неприятное и неожиданное, вроде как к стенке припёрли и допытывают. — Я с ним как с человеком, а он!.. Шуруй-ка мимо да не показывайся больше мне на глаза.

— Ты чего? Я серьёзно! Одену...

— Пошёл ты знаешь куда? Оденет он. Я, может, нищая и одинокая, но не настолько, чтобы каждому фраеру в невесты записываться. Вас тут много, я одна. Понял? Иди. Не хочу тебя знать. Фартовый нашёлся...

Но было поздно. Борис закусил удила и решил, хоть сдохни, овладеть гордячкой. Раз за ра-

зом он подступал к ошетилившейся крепости, получал втыки, уходил оплётанный, но не сдавался: Оксанка сделалась его манией. Он уже не мог без неё жить. А упрямая баба этого не понимала. И отбрыкивалась, отмахивалась от навязчивого кавалера, ругалась и насмешничала, пока однажды он не приставил к её горлу нож.

То утро Оксана не забывала никогда.

Закончив суточное дежурство, она не торопясь возвращалась домой. Пахло скорой весной, подталым снегом. Блестели на утреннем солнце насморочные сосульки. В берёзах потренькивали синицы и горестно, как обиженные дети, вскрикивали пролетающие над головой чайки.

Больница была выстроена на отшибе, в конце острова, который так и назвали — Больничный, заменив прежнее пугающее название Собачий. Соединялся остров с центром широким, кряжистым, поставленным на два заваленных бубльниками быка, мостом. Неистовое течение было в деревянные стояки, размётывало по сторонам густую жёлтую пену. Каждый раз Оксана останавливалась на мосту и замороженно смотрела вниз на бурлящую реку. Вода словно бы уносила с собой усталость, ненужные мысли и переживания, бодрила для нового дня.

Там и подждал жертву взбесившийся Борис. Потом он каялся, объяснялся, твердил про отчаяние и дикую любовь, и Оксана верила ему. Так оно и есть, понимала она, не повезло мужику — влюбился смертно и безответно. Но не простила и не собиралась прощать.

Она смотрела на воду, напитываясь её силой, как вдруг платок с головы слетел и к оголившейся шее прижалось лезвие. Не ножа. В серьёзных делах Кошель пользовался более совершенным оружием — отточенным до тонкости бритвы хирургическим скальпелем.

— Я это, — хрипло задышал за спиной Борис. — В общем, так, красавица. Или выходишь за меня, или я тебя сейчас режу. Без вариантов. Соображай.

Оксана Михайленко хорошо знала местные нравы. Вариантов действительно не было. Она представила, как несут волны её порезанное тело в Белое море, и подумала: не хочу, рано. По шее уже сползала струйка крови.

— Выйду. Убери, — как можно спокойнее, скрывая ненависть, произнесла она.

Через месяц произошло чудо: Оксана Михайленко забеременела. Отмороженные на скалах органы ожили под неистовым напором бешеного Бориса. Осенью родилась Татьяна. Через пять лет Елена. За два месяца до рождения второй дочери Кошель справлял прощальную гастроль.

Его шайку наконец накрыли с поличным. Самого при этом не было, но и таракану было понятно: загребут. И он из свидетеля переквалифицируется в обвиняемого, причём главного. А с ворохом статей, которые выложат на стол козырями, чалиться ему предстоит долгонько. И потому — гуляют все! В побег ударяться — себе хуже. Раз уж такая карта выпала — примем. Не сидел ещё, что позорно. Теперь отметится.

Дома он эти дни ночевал редко, отчего свекровь Екатерина Алексеевна ещё недовольней поглядывала на невестку. Она с первых дней была настроена против молодухи. Что такое! На восемь лет старше сына, расконвоированная — да на ней клейма ставить некуда! Ещё и регистрироваться отказалась, цаца.

Что верно, то верно. Оксана так и не согласилась признать вынужденный союз с Борисом семьёй, хотя за детей была ему благодарна. Совместное проживание под воздействием обстоятельств — и хватит с вас. Что хотел — то получил. Если бы свекровь знала, что первенец носит материнскую фамилию, а в графе «отец» в метрике прочерк, — бурю бы устроила нештучную. Но та, не приученная к семейным разговорам, мало что спрашивала и потому думать не могла, что за её спиной может такое твориться. Способность свекрови всё вокруг воспринимать со своей колокольни, не интересуясь подлинной картиной дел, Оксана презирала. Но никогда не высказывалась. С того дня, как ее «взяли замуж», она везде и со всеми предпочитала молчать. Заводная, весёлая хохлушка, которую даже лагерь не очень-то обтесал, перестала петь песни и не рассказывала баек. Уже не завивала волос на бумажные папильотки, а гладко зачёсывала назад и наматывала кулей на затылке. Но, похудевшая, с запекшейся в глазах тоской, с мимолётными улыбками, она была красивее и притягательнее прежнего, и Борис ужасно мучился от её нелюбви.

Узнав, что Кошелеву грозят этапы длинные и отлучка продлится неведомо сколько, облегчённо вздохнула:

— Знаешь, Боря... Я не стану тебя ждать.

— Вот как, — сообщение не поразило. Кот из дома — мыши в пляс. Он знал, что когда-нибудь они с Оксанкой расстанутся. Не знал только как. И вот — пришло. Сам ей открыл дорожку.

— Помоги нам съехать от матери. Если не противно возиться, конечно.

— Когда собралась ноги делать?

— Да хоть с завтрашнего утра.

— Уже замену нашла постель греть?

— Успокойся. Долго ещё в хомуте ходить не захочется. Сыта, знаешь ли.

— Я любил тебя, Ксюха.

— Знаю. Если честно, ты был неплохим любовником. Иногда мне даже нравилось... А ты никогда не задумывался, почему я не сбежала, не придушила тебя тёмной ночью?

— Неужто смогла бы?

— Ещё как!..

— Побоялась?

— Нет. Открою на прощание секрет... Я ведь бесплодна, Боря.

Он смотрел, не понимая, где тут юмор, и на всякий случай насторожился.

— Не удивляйся. Я ещё в детстве всё себе на канале отморозила. С кем ни жила, забеременеть не получалось. Профессор один меня смотрел. Сказал — пробуй, девка. Шансов мало, но, может, явится богатырь и сотворит чудо, пробьёт твой смёрзший ком. Так что, спасибо, Боря. Заслужил ты меня, получается. Жаль, что выбрал не лучший способ... Теперь мы разбегаемся. Даю слово: ни отца, ни бабушки детей не лишу. Вырастут — сами определят, кто из нас плох, а кто не очень.

— Значит, кранты всему, что было?

— Ага, кранты, — улыбнулась Оксана. — Иди, Боря, своим путём. Воруй, мотайся по стране, устраняй конкурентов. Наша история кончилась. Умный же, сам понимаешь. Тебе тридцать лет! Найдётся баба, с которой ты станешь счастливым.

— Сучка ты, однако... Но всё правильно говоришь. Трудно с тобой жить. Иногда, кажись, вспорол бы, на куски порезал, но ведь люблю. Так люблю, что землю под тобой целовал бы...

Скоро он перевёз дочь и беременную Ксюху в съёмную конурку. От вещей и денег она отказалась, сказала: не надо ворованного, сама зарабо-

таю, когда обживусь. Накануне суда попросил в последний раз сходить с ним на танцы.

— Живот на носу, отвяжись, — взмолилась Оксана, которой давно надоело смотреть, как петушится и красуется перед народом муженёк.

— Последняя гастроль, Ксюха. Пойдём!

И она пошла.

Борис был большим поклонником культурного отдыха. Посидеть в ресторане, сходить на концерт заезжих артистов, посмеяться над бравурными номерами местной агитбригады — это он любил. Но особенно тепло относился к танцам в клубе. Умел и вальсы, и фокстроты, танцевал красиво, мама здесь ему в подмётки не годилась.

— Ты, Ксюха, пляшешь отлично. Дроби бьёшь — обзавидуешься. А вальсируешь — чисто корова. Посиди лучше — на меня погляди.

И она все вечера сидела в хлопающем деревянном кресле, невольно любуясь, как умело и страстно кружит Борис по залу партнёрш. От неё это и требовалось. Борис пыжился от гордости, что известная всем красавица — его собственность, и сидит как привязанная, и на него смотрит. И смотреть будет до окончания вечера. И никто из мужиков не посмеет не то что рядом присесть, заговорить, пригласить, пока он других краль окучивает, но взглянуть на неё лишний раз поостережётся.

Те, последние их танцы, не заладились. Баянист не пришёл, включили радиолу. Но она скрипела и шипела несмазанной телегой. Народу собралась горстка. Побродив по залу, потрепавшись с теми-этим, Борис решил вернуться домой.

На улице было черно и холодно до ломоты в зубах. Только зимний небосвод полыхал сиянием. Зелёные полосы гасли и заменялись красными, те переливались в перламутровые, вдруг вспыхивали бордовые и медленно менялись опять на зелёные. Казалось, что где-то наверху распахнули огромную топку, в которой горят души грешников.

Они шли по тропе, почти скрытые огромными сугробами. Оксана, как обычно, впереди.

— Всё-таки чем собираешься жить? Как с детьми прокормишься? Тот, кто скоро вылезет, тоже ведь искусственником будет, ты ж безмолочная.

— Не переживай, справлюсь, — усмехнулась

она заботливости мужа. Хотела обернуться и вдруг споткнулась, полетела лицом в снег. Оксана падала и с ужасом понимала, что Борис её убивает. Сквозь треск разрываемой ткани она ощутила жгучий укол скальпеля, затем ещё один, ещё... Она повалилась на свой огромный живот и заплакала. — Ненавижу, ненавижу...

Слёзы его и остановили. Он никогда не видел, чтобы жена плакала. Никогда. Правда, до этого он её и пальцем не трогал, но мало ли поводов погоревать запертой в клетку птичке — может, втихушку и рыдала. Но при нём — никогда.

Оксана примораживалась к снегу, глаза белели, слёзы застывали на щеках ледяными дорожками. Борис очнулся. Взыл, задрав поволчьи к небу голову. Потом тащил её, волок к дому, падал рядом, захлёбывался соплями и страхом, просил:

— Не умирай! Не умирай!.. Живи как хочешь, с кем хочешь, только не умирай!..

Оксана не умерла. Даже не вызвала на подмогу врачей. Сама руководила, чем обрабатывать, как перевязать порезы. Борис суетился, свекровь испуганно смотрела от дверей. В день суда, когда все ушли из дома, пленница поднялась с постели, одела дочь и навсегда покинула бабушкино пристанище.

— ...Мне думается, что номерок от тех последних танцев, — Татьяна забрала у сестры стеклянную семёрку. Долго на неё смотрела, точно видела в мутном квадратике лежащую под полыхающим небом маму. — Задумав убийство, отец забыл его вернуть в гардероб. А бабушка отыскала, но выбросить не решилась.

— Не привыкла ничего папиного выбрасывать! — усмехнулась Елена.

Они уже давно покинули «Европу». Шли рядышком по заросшим дорожкам, притоптанным на месте бывших дощатых мостовых.

Им никогда не нравился родной город. Может, неприятие впиталось с кровью матери, попавшей сюда насильно и мало приятного здесь видевшей. Но три десятка лет назад, надо отдать должное, это был ещё вполне приличный город. Многолюдные лавки и магазины, таксопарк из новеньких «волг», рестораны на каждой улице, «северные» заработки рекой,

по улицам планируют командированные морские офицеры с кортиками на золотых поясах. Теперь же плесень убожества покрывала всё, даже берега бурливой реки. Им казалось, что они гуляют по кладбищу.

— Ну, допустим. Номерок, рамка. Но как объяснить стул? — Елена, раздражённая обиленным бездомных псов, трусящих по улицам вместо офицеров, жалась к сестре.

— Стул — это бабушка. Он раньше стоял в спальне, у стола, помнишь?

— Помню. Только их было два.

— Один сбежал, — хохотнула Татьяна.

— А второй дождался нас?

— Похоже, что так... Думаю, это были не её стулья. И стол не её.

— Очередная добыча сына?

— Исключено. Прежде всего, Борис воровал и хранил у матери только вещи. Тогда с ними был дефицит и шмотки выгодно расходились. А с мебелью морока, согласись.

— Мебель могла потянуть статью за разбой.

— Вот именно. Покажу тебе одно местечко. Может, помнишь, у поликлиники, рядом с домом бабушки, большую клумбу? Горбатую и ни одного на ней никогда цветочка? Нет? А я помню. Она была похожа на круглую могилу...

4

Почти в цель угодила Татьяна. Могила не Могила, но под окаймлённой выщербленными кирпичами клумбой когда-то и впрямь находилось нечто значительное. Во всяком случае, значительное для полумёртвого ныне городка.

Двести лет тому вместо врачей располагались по соседству с бабушкой инженеры, счетоводы, экономисты одного из солиднейших российских производств — двух Сорокских лесозаводов, снабжавших пиломатериалом и Россию, и Европу. А там, где потом бесплодно заскучала клумба, громоздилась чугунная пилорама, отработавшая свой век и поставленная у заводоуправления в качестве памятника отцу-основателю заводов — Митрофану Петровичу Беляеву. Тут же темнел свежей бронзой его бюст с лаконичной надписью: «Возд-

вигнут памятник признательными служащими и рабочими в 1909 году».

Сам хозяин на тот момент шесть лет как покоился на Новодевичьем кладбище. И уже четверть века делами заправлял брат его, Сергей Петрович. Чем заслужил, в память каких небывалых поступков заводские добровольно складывались копейка к копейке, чтобы отлить памятник основателю северного лесопильного производства? Не потому же, что, освободившись от бизнеса, Митрофан Беляев стал музыкальным издателем и меценатом. Не за то ведь, что в Лейпциге появилось и существует до сих пор его нотное издательство, публиковавшее исключительно клавиры и партитуры русских композиторов, особенно молодых и малоизвестных — Бородина, Глазунова, Лядова, Скрябина, Римского-Корсакова. И что им до основанной купцом денежной «Премии имени Глинки», которой поощрялись русские музыканты, композиторы и произведения вплоть до бунта семнадцатого года.

Откуда и к чему рабочим сорокских лесопилок было такое знать? Их музыка была иного склада — тревожные, тоскливые песни про белорыбицу, про Бело морюшко студёно, про лебедей да селезней, мечтавших превратиться в красных девушек да добрых молодцев... Да и за двадцать пять лет отсутствия Беляева на заводах помнили о нём одни старики.

Но долетело же до Сороки от него нечто важное и доброе, вдохновившее работяг на памятник. Даже старую пилораму не забыли, уважили, привинтив табличку: «Распилила 1.200.000 брёвен». То, что потом эти же работяги сбивали бюст с пьедестала, водружали взамен наскоро слепленную голову вождя мирового пролетариата, а слова любви к вождю вырезали на обороте той же, беляевской, бронзовой табличке, — история иных чувств.

В тот праздничный для рабочих день 1909 года трёхлетняя Катя Няйтиева в ободранном холщовом сарафанчике бегала по Сухому Наволоку, знать не зная, что скоро судьба свяжет её с названными господами. Что ей предстоит стать последней хранительницей разграбленного беляевского особняка и принять на себя все тайны, которые в нём гнездились. Дом, выстроенный хозяином, жил, пока жила она, и сгинул окончательно вместе с нею.

Попала Катя в высокие хоромы пяти лет, с матерью.

Давно уже Дарья Няйтиева приходила сюда, за 19 верст от Наволока, стирать бельё. Путь не ближний, в один день не обернёшься. Скоро ли обстираешь хозяев, следом и челядь, если в доме обитали, навскидку, человек тридцать. Работала прачка в углу просторной светлой кухни. В баке на вместительной плите кипятились льняные простыни, шаркало мыло по рёбрам стиральной доски, плюхались в корыта отжатые рубахи с кальсонами. Являлся дворник, грузил тяжёлые корыта на телегу и вёз Дарью на берег полоскать выстиранное. Ни зимы, ни лета её вспухшие красные руки не различали — северные реки всегда холодны. Упававшись к вечеру с первой стиркой, Дарья валилась на тюфяк без ног-без рук, под бок какой-нибудь другой батрачки. Женская прислуга спала скопом в комнате при кухне, ставшей потом спальней для бабушки.

Сюда и привели Катюшку, когда детям управляющего (Сергей Беляев редко наезжал из столичного Питера на кормящие его заводы, и в барском особняке располагался управляющий с семейством) понадобилась игрушка-подружка, чтоб было кому бегать за улетевшими вдаль мячами. Но сотоварищем по играм юным барчатам девочку назначали нечасто. Чаще она помогала на кухне, полола грядки, нянькалась с грудными детьми, рождавшимися каждую осень.

В островной Сороке повелось дома строить вразнобой, кому где прихочется и как позволит каменистая почва. Улицы выходили короткие да кривые. Богатые жилища соседствовали с бедняцкими, тут же ютились бараки для холостых и сезонных лесозаводчан, стояли продуктовые лавки, конторы.

В досюльные времена жили на прибрежных скалах раскольники, монахи-отшельники, потомки новгородцев, бежавших от царской власти и ставших вольными поморами. Тишина главенствовала в этом краю. Впереди — студёное море, позади — бескрайний лес и топкие болота. Случайному человеку здесь не очутиться, разбойникам промышлять нелюбо и невыгодно. Но алчность купеческая, бездонная мошна государственная преодолевали любые расстояния, непогоды и невзгоды. Всё больше и больше народа являлось на поморские берега. Лес — цен-

нейший, рыбы и зверя морского ловить не переловить. Домишко к домишке — вот и село. Железка до Мурмана пролегла, судоходный канал открылся, свет от речных порогов по проводам побежал — вот тебе уже и город, полный шума, лязга, народа пришлого и насильно завезённого. Грохот непрестанной работы, гудки, свистки, массовые пьянки по воскресеньям, шумные демонстрации в праздники... Не стало Сороки. Исчезла вековечная сосредоточенная тишь. Только ныне, когда вычерпаны недра досуха, пропал завод, встал порт, обмелел канал, — затеплилась надежда на возрождение былого покоя беломорского края. Но тогда, в начале двадцатого столетия, освоение его богатств и возможностей ещё набирало силу.

Господский домина — экономностью ли хозяев, нежеланием попусту тратиться: жить-то на ветру вдаль от столиц они не планировали, нехваткой ли времени на строительство, — не отличался особой архитектурой. Выстроен был по русскому обычаю, не карельскому. Справа да слева по входу — один чистый, другой чёрный. Шесть широченных окон по фасаду. Три — на мезонине, отдельной хаткой возвышающимся над общим домом. Заштукатурен и выкрашен в заморский розовый цвет. Ни колонн тебе, ни парадных подъездов с камердинерами.

80 лет прожила в нём Екатерина Алексеевна. Но странным образом, на «чистой стороне» понастоящему так и не побывала. Знала лишь внутреннюю лестницу на мезонин, где обычно бумажничал по ночам хмурый мордатый бородач Платон Андреич Аксёнов — бессменный заводской управляющий. Носила ему подносы с кофе, когда вдруг покличет, а никому другому недосуг. Легко взбегала по широким ступеням, выложенным из цельных лесин, удивляясь, зачем такая красивая лестница, когда её никто не видит.

Жизненной территорией, вполне её удовлетворяющей, стала кухня, постепенно пустевшая, лишаемая лишних чанов с водой, полатей для мужиков, длиннющего стола из струганых досок для общего обеданья. На полупустом, пронизанном воздухом и солнечным светом пространстве бывшей барской кухни остались только железная койка в углу, деревянная кадушка, укороченный стол, перестроенная печь и посудник над тумбочкой с продуктами.

Единственную сохранившуюся кадку Таня с Леной наполняли колодезной водой, притаскивая каждую вёдер по десять. На дно опускалась серебряная ложка, на деревянное ухо вешался ковшик. Пить ковшиком из кадки категорически запрещалось.

— Испоганите воду, — грозилась бабушка, — заставлю щёлоком мыть!

Для жаждущих припасался жестяной кофейник и кружка, стоявшие отдельно на тумбочке.

Революция в значении свободы от господского гнёта пришла в Сороку поздно. Сбежали обиженные русские господа, тут же явились финские, их сменили английские интервенты. Когда, наконец, карельская беднота осталась сама с собою, ей не позволили долго соображать, как построить жизнь на новый лад. Понаехали с Большой земли комиссары, пропагандисты и специалисты разного рода и быстренько объяснили: снасти, лодки, всё ловецкое оборудование рыбакам снести в колхозы. Кто при царской власти валил лес, сплавливал брёвна и пилил доски — должен вернуться к делянкам, сплавам и станкам.

Осталась при доме и Екатерина. Собственно, остались все, кто здесь обитал и раньше. Дворники, конюхи, прачки, кухарки, полумойки, горничные, печники; добавилось несколько семей ушедших в революцию заводских активистов. Дом, перегороженный на клетушки-квартиры, стал походить на пчелиный улей. В сотах его копошились жильцы-насекомые, главной заботой которых, при оглушительности лозунгов про власть Советам и землю крестьянам, была — прокормиться. Как удалось отстоять от перегородок «чёрную половину», оставить в прежнем виде кухню и комнату при ней — можно только предположить, сопоставив факты и домыслив детали бабушкиной биографии.

Возможно, в кухне собирались организовать столовую для домовой коммуны, где повариха по-прежнему бы варила-жарила на всю братию? А братии оставалось бы ударно трудиться, перевыполнять план и задыхаться в упряжи социалистических соревнований, мечтая высокими показателями выбиться хотя бы в коренники, если распрячься в принципе нельзя. Не тут-то было! Получив собственные углы в добротном, тёплом, удобном барском

гнезде, жильцы пожелали жить единолично. И не только отказались коммуной столоваться, но даже домкома себе не выбрали.

— Тёмный народ! Одно слово — прислуга! — плюнули на них ответственные товарищи и... забыли про дом.

Или после особенно безутешных переживаний матери, отвыкшей от мужа-бiryюка, не желавшей к нему возвращаться, Екатерина придумала нужное решение? Ей тоже не хотелось ехать в Сухой Наволок, ставший рыболовецким колхозом «Батрак». Отец батрачить отказался, заперся в доме, а им что изволите там делать?..

— Выселят нас, доча, — не переставала тревожиться Дарья, сидя у окна. От бывлой обстановки остались на кухне одна кадушка и огромная стывлая плита. Остальное, вплоть до табуреток и кастрюль, растащили новые собственники. Но доча её тоже не простушка. Пока тащили отсюда, она отвоевала сюда этажерку, громоздкий обеденный стол и парочку венских стульев. Правда, стол и не был никому нужен, разве что на дрова: двенадцатиместная мебель не впишлась ни в одну клетушку.

— За что выселят-от?! — нервно гневалась Екатерина, точно это мать выписывала ей ордер на выселение.

— А места, гляди, сколь! Не дозволит одним остаться.

— Придумать что-то нать...

Кате Нягтиевой стукнуло к тому времени восемнадцать. Некрасивая, с колючим настроженным взглядом глубоко упрятанных глаз, она всё же была завидной невестой: дебела, мягка, работаща, не голь перекатная. Облигации да прежние деньги — наследство отцово, — конечно, пропали, но осталось наследство матери: речные жемчуга, бисер, кружева да сарафаны. Поморские девки в простом полотне замуж не выходили.

Мужа она отыскала в ближайшей деревне Ендугуба, привела на кухню, прописала — вот их уже и трое. Родила Васятку — четверо. Еще раньше с матерью нанялись в надомницы, сети вязать для колхозов. А где прикажете хранить тюки нитей, верёвок, кучи готовых к отправке многометровых неводов всех мастей?.. Так и отстояла Екатерина барскую кухню от разделов-переделов. Стала жить сама себе хозяйка.

Перед войной, правда, подселили жилищку в утеплённом чулане. Пришли двое в портупелях, привели со шлюзов вольную табельщицу Машу, сказали — временно поживёт, да так она и осталась. Прижилась в удобной комнатёнке одинокая стареющая девушка. Деятельной Катинной жизни не мешала. Ни во что не вмешивалась, советов не давала, лишний раз на люди не показывалась. Пришла со службы, юркнула в дверь и — молчок до утра. Что-то на плитке себе подогреет, поест-попьёт, книжку почитает — будто нет за стенкой никакой Маши. До смерти возле бабушки прожила, а подругой почему-то не стала. Напекут воскресных шанег, позовут жилищку, та выйдет, присядет с торца к столу со своей чашечкой. Угощается молча, слушает бабушкины разглагольствования. Как только в двери появится новый гость, Маша, потом уже баба Маша, прижмёт пустую чашечку к впалой груди и обратно шмыг в конурку.

Первый воскресный самовар выпивался вначале домашними часа за полтора. К полудню к бабушке начинали заглядывать гости. Самовар разжигали снова, и так до глубокого вечера. А вечер на Севере наступает рано. В пять пополудни степенные поморы завершают и дела, и гульбу. Переключаются кто на молитвы, кто на неспешное чтение умных книжек; кто шерсть прядёт, кто пасьянсы раскладывает. За окном чернеет до притухшего угля зимний воздух — страховидно по улицам ходить. В ночь летнюю, серую как мышь, с незатухающим, словно в отсвете пожара, горизонтом, гулять не тоскливо только молодым. От греха подальше — за родимые стены, к иконам. Будет утро, будет и пища.

...Через пять лет ендугубский муж погиб. Соскользнул с мокрых брёвен, когда поднимали на элеватор сплав в лесозаводской бухте. Промахнулся багром, не устоял, а брёвна пёрли друг на друга, как быки на случке, и, пока парень пытался вскарабкаться обратно, сшибли, задавили его насмерть.

— Ох, горе какое, ох, живое дерево погубило!.. — причитала Дарья над покойником.

— Про что ты? — спрашивала сквозь слёзы дочь.

— О том, о самом!.. И-и-и, совы пустоголовые, живёте, ничего округ не чувствуете... Убило его живое дерево! В лесу каждый лешак себе лю-

бимые деревья выбирает. Их трогать никак нельзя. Потому как, ежели срубить такое дерево, так оно за обиду должно человека загубить. Кого задавит, кого на заводе изувечит, на сплаве потопит. А бывает, пол такими досками настелют, так провалится пол и прибьёт-таки человека. Это уж завсегда! Вот наш Пашенька под живое дерево-от и угодил!..

— А в конторе бают, сам виноват.

Денег вдове за потерю кормильца не выплатили. Нарушил сплавщик безопасность труда, с него и спрос.

— А ты, чем начальству попусту досаждать, сама-ко на завод устраивайся, — посоветовал Екатерине пилостав Аникеич, точивший пины со времён купцов Беляевых и авторитет имевший поболее, чем у мастера. Сам управляющий за советами хаживать не гнушался. Но советы советами, а интересы трудового человека Аникеич блюл как свои, если нужда такая возникала. К первым стачечным комитетам руку приложил. Революцию по молодости устраивал, но халтурить ни при царях, ни при Советах никому не позволял. И был он на заводе, как сердцевина в яблоке — выковырай её, где оно, то яблоко?..

— Находишься, на свою беду, — тёр очки пилостав. — Станут присматриваться, кто такая да почему, да что — как ответишь? Тунеядка рабочему классу?..

Раскинула умом вдова, согласилась: прав старик. Намозолишь глаза начальству — конец домовой покойной жизни. Насильно к общему делу присобачат, если чего хуже не удумают. Теперь-от в Соробе строго. Гимнастёрками набита, как бочка треской солёной. В лес соберёшься — соображай, в какую сторону идти. Там колочка, тут охраняемая узкоколейка. Овчарки вохровские сутками округе покоя не дают, лают и лают, чисто оглашенные. Верно баёт пилостав, надо приткнуться к заводу, рабочей карточкой обзавестись. И надёжа тебе, и приварок.

Определили её в напарники готовые пилостав материалы из рамы принимать. Работа не сложная, но главное, не надорваться — уж больно вёрткая. Покудова одну доску из-под пины выхватываешь, другая дуром прёт. Так и носятся всю смену: принять, оттащить, бросить, бегом обратно. Поодаль девки тоже крутятся, не только в штабеля продукцию кладут,

так сортируют еще: экспорт, не экспорт. Ошибёшься — моли бога, чтобы не тюрьма. А когда правильно всё да ловко, можно и премию к зарплате получить. А то ведь не больно велик заработок — пятая часть от выработки.

Но не вышла судьба Екатерине на лесобирже здоровье угробить. Много, видать, любимых деревьев лешего загублено было! Нашлось и по её душу одно. Полгода не прошло — опять разор в семье.

Пустили в раму бревно, а оно извернулось и такие кренделя выписывать принялось — батюшки святы! То пером по цеху летает, то пулей. Пила в ключья, один навалщик с пробитой головой под станком издыхает, другие не знают, куда бежать. Сама-от лёгким ущербом отделалась — два пальца на правой руке вышибло.

Поначалу на заводе переполошились, не диверсия ли. Так и этак крутили утихшее бревно — вроде нормальное, штырей железных не понатыкано, не вредительство. Значит, рабочие опять сами виноваты.

— Пилите его заново.

— Можя, лучше выбросить? — запасались навалщики.

— Народное добро — выбросить?! А под трибунал не хотите?..

Не спрашивая компенсации за увечье, ушла Екатерина с завода и больше ни с каким производством не связывалась.

— Начальников туча, а денег мала куча, — говорила она, когда заходила речь о лесозаводе, вот-де какой он старый, знаменитый, вся продукция за границу. — Мы уж сами как-нибудь.

А весной 1932 года встретила единственную любовь своей жизни.

Несытое время стесало жир с её тела, никакой дебелиности не было и в помине, колочие глаза совсем провалились в почерневшие глазницы и глядели оттуда скорее печально, чем настороженно. Лицо осунулось, деревенская толстощёкость исчезла, отросшие волосы складывались на затылке гребёнкой уже на городской манер. Красавицей не стала, но и суровой поморкой уже не была. Пустые закрома успокоили Екатерину. Чего думами мучиться, если копить нечего и прятать не от кого. Прежняя, она навряд ли обратила бы внимание на Володошку — продавца комсоставской

лавки, самой богатой из всех сорокских лавок.

Мальчишка! Широкое лицо задрано, круглый подбородок вперед, нос кверху, полные губы открыты, с дырочкой посередине. И глаза ребячёнка, будто удивляется или радуется чему-то. А может, раздумывает: не придушить ли вон того котёнка, посмотреть, как он умирать будет. На русых волосах не то шапка, не то кепка с толстым мерлушковым козырьком. Таких в Сороке и не носил никто.

— Чего смотришь? — ухмыльнулся парнишка, наливая ей в бидон керосина. — Понравился?

Голос оказался грубым, мужским, треснутым, точно от мороза.

— Понравился, — неожиданно для себя буркнула Катя, не позволявшая себе даже для мужа подобных слов.

— Так пригласи, погуляем.

— Молод ты, погляжу, со мной гулять.

Парень захохотал. Привык, что путаются люди, глядя на него. С виду — шестнадцать, пацан пацаном, не станешь же метрику каждому совать, доказывая: четвертак мне, братцы, четвертак!

— Тебе со старыми больше нравится? У них же, у старбелей, окромя кошелька, нет ничего. А я вишь какой ладный. Руками охвачу — себя позабудешь!

— Ни с кем мне не нравится!..

Дёрнула Катя бидон и бегом на улицу. А сердце так и молотилось в груди, так и молотилось, точно оторванное. Через день не держала, опять явилась в лавку.

Парень отвечивал махру какому-то солдату. Скосил в сторону вошедшей Екатерины глаза, и у той зануло внутри от предчувствий бед и горя, которыми тот непременно её одарит. Бед, впрочем, не произошло, но горе она пронесла в себе до скончания жизненного срока.

Они прожили всего-то два года. В памяти Екатерины остались дни, когда они ночами, благо что белые, гуляли вдоль моря, оставляя далеко позади дом, город, всё на свете. Володюшка, в драповом чёрном пальто, гимнастёрке, косоворотке под нею, в фартовых сапогах на каблуке, в неизменной кепке, прыгал с камня на камень барашком, а она тащила в след, не понимая, почему ему нравятся этот ветер, брызги, скользкие от наброшенных прибоем водорослей камни, пустое безмолвие ночи. Хорошо бы лежать

сейчас в постели, прижимаясь друг к другу, но ему было хорошо стоять в распахнутом пальто перед морем и что-то нашёптывать.

Потом он исчез. Пошёл на работу, и как ветром сдуло, или сквозь землю провалился. До лавки не дошёл, домой не вернулся. Его искали. Не шаромыжник какой пропал — сотрудник воинской части, пусть и вольнонаёмный. Екатерину допрашивали. Бесплезно. Ни слуху ни духу, ни следов, ни зацепок, а она даже не успела узнать, с каких краёв он к ним залетел, какого роду-племени? Некогда было, любовь всё затмила, все вопросы отмела на потом. И осталась у неё «на потом» фотокарточка, сделанная на ходу, в салоне, в тот день, когда они решили жить вместе.

— Зайдём! — и, не интересуясь, хочется ли ей, потащил вовнутрь. Так и запечатлелись: одна в старом ватнике, другой в мятой тужурке, точно работяги с лесоповала.

Остались заставленные продуктами полки в чулане. И остался сын Борька. Вздёрнутым носом, неуловимым выражением глаз, каждой волосинкой на круглой голове напоминавший приبلудившегося ангела, похожего в своём чёрном пальто на воронёнка.

Будут ещё у Екатерины Алексеевны и мужья, и сыновья. Первенец Василий с будущей войны вообще героем-орденоносцем вернётся. Но никого она так не любила, как Борьку, взявшего от матери только тонкие сжатые губы. Беспутного, остроязыкого, опасного, вору и бездельника. Что ей за дело — пугный, нет ли, если каждой повадкой он напоминал отца. Куртки вечно нараспашку; на стульях если не нога на ногу, так верхом. Однажды ножиком вырезал на круглой спинке венского трофея букву. «Б», конечно же. Уж она ругалась, уж полотенцем стегала его — не портить вещей, не тобой куплены! Смеётся!.. А и то, признаться, много ли в доме купленного было. Считай, ничего. Мебель барская, самовар с перинами и утварь кухонная — с отцом разделены, радио Васятка на уроках смастерил. Ту же крупу-муку-консервы, пока Володюшка был, считай, два года не покупали, да ещё с год после. Чего ступля не поковырять — не пообедем! А буквочка — вот она. Когда Борька стал пропадать из дома и уносил с собой Володюшкино присутствие, мать всегда могла её погладить, и тут же всё возвращалось на места.

Ещё подростком сын приволок тюк ворованного шмотья и попросил спрятать. Она спрятала. Велел распродать по знакомым — продала. Так и повелось.

Мало кто знал, что обшитый досками низ дома представляет собой пустоту. Особенно просторно и пусто, хоть пляши, было под кухней, под ногами Екатерины Алексеевны и Бориса. Лиственничные сваи держали беляевскую храмину над каменным пологим плато, будто в воздухе. С чистого входа внутрь попадали прямо с улицы, а с чёрного в кухню, поднимались по крутой коридорной лестнице. Внешне всё выглядело заедино. Жильцы после революции менялись, как погода весной, — туда-сюда. Когда Борька подрос, из старожиллов никого уже не оставалось. Не умерли — так посадили, не на фронте погиб — так за Уралом в эвакуации сгинул. Одна лишь Няйтиева, как домово́й, обитала здесь бесменно. И единственная знала все тутошные секреты, утайки, углы и загогулины. Если перепадало мяса раздобыть, в бывший хозяйский ледник, ставший общим холодильником, не несла, держала его под полом, буквально — на улице. Кто догадается? Даже голодная собака не подлезет, не взроет скальной подошвы дома.

Пронырливый Борька и без материных наводок узнал, изучил, приспособил под себя межсвайное пространство. Дружкам не хвалился, понимал ценность никому не ведомой пряталки. Там он стал хранить краденое. Там ховал концы своих преступных делишек.

Еще грохотала война, а в Сороку поналезли пленных финнов отстраивать пустынную местность, чтобы было где жить и плодиться многочисленной рабочей массе, добровольно и не очень наводняющей портовые молы, лесопилку, железнодорожное хозяйство, водорослевые и витаминные цеха — объекты стратегические и на людей обжористые. Особняк Беляева уходил всё дальше с глаз, пропадая среди высоких, похожих на корабли, бревенчатых двухэтажек с четырёхметровыми потолками и блестящими пастями окон. Центр с исполкомом, судом, военкоматом, милицией и прочими служивыми конторами сместился за реку. Вокруг столетнего жилища всё как-то успокоилось, былая престижность растворилась в наступившей тишине.

Огляделась Екатерина Алексеевна. Зады до-

мов, сарайки, берёзовая поросль, зарастающие травой грунтовки, по которым всё реже пропыливал транспорт, окружали её. И тоже наконец успокоилась. Почти сорок лет переживала: не явился бы кто проверить закут, о котором не подозревал даже Борька. А теперь что? Скрылся с глаз беляевский особняк, облез, облупился. Нет его. Всё кончилось.

Случилось это осенью 1923 года, незадолго до поездки Кати за женихом в Ендогубу. Закрывая истопленную печь, мать усмотрела в глубине непрогоревшую головёшку. Экономная на дрова, не стала её доставать и выкидывать, а решила разбить кочергой в уголья. Колотила-колотила да и сшибла в дымоходе кирпич. Тот рухнул в печь, взметнув искры и пепел.

— Что наделалось, — запрочитала Дарья, — прохудилась труба-от, чтоб ей пусто было! Теперича заменять, а чем?

Беда! Где в голодный ущербный год достанешь хороший печной кирпич?!

— Полазай под домом, — велела мать, — поищи, может, кладка какая отыщется — разберём.

И верно — нашла Екатерина кладку. В дальнем углу, где уже не только в рост или на коленки не встанешь, а вовсе лёжа пробираться нужно, нашла она красно-кирпичную стеночку. Подлезла, постучала. Ага, пусто. Можно разобрать, ещё и в запас немножко останется. До конца жизни не знала Екатерина Алексеевна, на горе или на радость разобрала она ту стеночку. Никаких ужасных последствий вроде не произошло. Страшной смертью никто не погибал. Богачества так и так не прибыло. Мужья у юбки её не задерживались? Так особо и не горевала. Сколько получалось — от них брала, зная, что не замедлит другой следом явиться. И свободой бабской не изнывалась, и поколоченной не бывала — что ещё нужно простой поморке? Авсё же... Если бы не взяла она тогда те перстенёчки, может, повеселее бы жизнь сложилась?..

Обнаружилось, что кирпичи сцеплены не раствором, а просто глиной. Катя живо отколотила верхний рядок, следующий, следующий и добралась до последнего. Подняла свечу... и отпрянула в ужасе. Тот, кто там лежал, ещё не превратился в скелет. Это ещё было тело, высохшее, как старые сапоги.

— Спаси и помилуй! — выдохнула девка и то-

ропливо полезла назад, ранясь разбросанными осколками.

Но что-то неведомое уже привело её в чувство, успокоило, и, собравшись с духом, она вернулась. Не переставая шептать «свят, свят, свят», осветила Катя свечой жуткую находку.

За кирпичами лежала женщина. Длинные волосы прилипли к истлевшему сарафану, голые ступни торчали из-за подола. На чёрных костях пальцев, сложенных на груди, замёрзли массивные перстни. Сквозь слежавшуюся пыль сверкнули на пламя свечи красные и голубые искорки драгоценных камней.

Катерина оставила женщину там, где нашла. Приволокла земли, засыпала тело, заместо кирпичей заложила булыжниками, а булыжники — дёрном — не приведи господь, кто на банную каменку подходящих камней искать надумает? Закут с покойницей навсегда пропал из глаз.

Матери Екатерина сказала, что перстни лежали в кладке, завернутые в тряпицу.

— Неужли беляевские? — ахала и гадала мать, боязливо трогая почерневшее золото.

— Так мало здесь Беляевы бывали, — наводила дочь на возможную отгадку зловещего тайника. — Аксёнов постарался, как думаешь?

— Платон Андреич? Про что баешь, не разберу?

— Баю, украл управляющий золотишко да зарыл под домом.

— Бог с тобой, — шептала мать. — Он хоть и самодурничал, не зря толсторожей скотиной прозывался, а дела честно вёл. Не мог хозяев обокрасть и других не мог. Верно, своё сокровище зарыл, когда выселяли их отсель, от обысков прятал, а обратно забрать не получилось.

— А ничего тут страшного не происходило раньше? — выведывала Катя.

— В дому-от? Завсегда спокойно жили. Передавали по ушам одну байку, так ведь правда ли — кто знает?.. Старшая дочь аксёновская больно уж некрасива с лица была, свататься никто не хотел. Решили, раз такое дело, пусть в девках грехи за весь род отмаливает, перед Господом поклоны бьёт. Молельну ей богатую справили. Хитро была устроена та молельня: весь дом обойди, каждую комнатку прощупай, а где девица с образами, не найдёшь.

— Зачем?

— А чтобы молиться не мешали. Так она, дева-

от, взяла и забрюхатела. Видать, не хотелось за всех поклоны отбивать. Когда стреховодничала, с кем — поди знай. Дух святой постарался — и всё тут!.. Увёз её отец долой с глаз людских, — сказывала мать. — Куда-то в скиты, к отшельникам. Не знаю, чего уж там с нею сделалось... Долго шептались про тую дочь, да всё равно потом забыли. А золото... Семейное, не иначе. Чего делать с им будем?

— Чего делать! Наше оно теперича, наше, — твердила Катя. — Жить на эти кольца будем.

— А придёт кто за ним?

— Не придёт... — вздохнула Екатерина, — а ежели чего — знать ничего не знаем. Поняла ли? — и упрятала драгоценности глубоко в сундук.

Долгие годы перстни кормили Няйтиевых. Екатерина продавала их редко и осторожно, по штучке, то заезжому скупщику, то зажиточному земляку, справлявшему приданое дочери. Когда односельчане разворошили отцовский дом, она поняла, что слухи о няйтиевском золоте всё же просочились. Только не с той стороны сиверко дул. Думали, Алексей Архипович прежней службой обогатился. А то, что бабы сами не лыком шиты, — кто ж догадается?..

Много молилась она, чтобы простил батя, по её вине миром оболганный. Но особенно уж совестью не мучилась. Знала за собой счастливую черту — не брать в голову и душу лишних переживаний. О чём мучиться, если всё вокруг и без её грехов летит вверх тормашками! Не убила никого, не обворовала. Покойницу не потревожила, наоборот — упокоила землёй, непогребённую. А перстенёчки поверху лежали, так-то. Но каждый раз, когда Борис нырнул под дом, сердце её сжималось — не добрался бы ушлый проныра до засыпанных булыжников.

Екатерина Алексеевна старалась забыть, что таится в замурованном закуте под кухней. Боялась только, не явится ли кто неведомый, знающий про подпольное то богатство? Ни-че-го, успокаивала себя. Если и был кто, давно при такой жизни в прах истлел. Но Ксанка, которую привёл сын, не на шутку вновь её растревожила. Иногда так взглянет пришедшая девка на свекровь чёрными своими глазищами, что зашевелится внутри забытый ужас, заколет грудь холодом. Не она ли — неведомая посланница?.. И что свекровь заметила: нет её поблизости — Ксан-

ка веселится, смеётся. Но стоит в дверь войти, замолкнет и глядит, будто выпрашивает: признавайся, ядрена твоя душа, признавайся!..

Сёстры собирались к отъезду. Сто обещаний и заверений взяли с дежурной, что скорый Мурманск—Москва обязательно, кровь из носу, тормознёт на станции ради них.

Елена укладывала в чемодан собранные на берегах камешки, пытаясь определить, какого они племени. Медно-коричневый, конечно, гранит. Два белых: тусклый — это мрамор, а светящийся, будто внутри лампочка, наверное, кварц. Серый осколыш в слюдяных брызгах тоже гранит. Чёрно-белый с гранатовыми каплями похож на корунд, надо по атласу уточнить. А где подобрался этот, похожий на сглаженный кусочек асфальта?..

Она не была знатоком камней и минералов, но была их давней поклонницей. Любила рассматривать, греть в руках тысячелетние куски земли, песка, глины, прессованную пыль ракушек. Брала камень, закрывала глаза и наслаждалась горячим покалыванием в ладонях. В любом месте — на море, в городах, парках, за границей, в калмыцкой степи, Елена пыталась отыскать «горячий» камень. Подбирала приглянувшиеся, сжимала в кулачке и ждала — откликнется или нет. Когда мутило что-то, ныло внутри, Елена доставала коллекцию и принималась её перебирать, гладить, рассматривать. И камни забирали муть без остатка. Иногда достаточно было полистать атлас минералов, насмотреться на картинки, чтобы успокоиться. Тяга к окаменелостям иногда тревожила. И когда нынче на мокром беломорском берегу нагнулась за красным скольшем гранита, даже сердце ёкнуло: моё! Подняла — и мурашки побежали от самой шеи.

Чуть не каждый увиденный в эти два дня валун, полотнища скал, мокнущие в холодной воде россыпи взорванных пород по сторонам мостов подключались к тону её крови от одного взгляда на них. Было понятно как дважды два: нужно оставаться. Жить здесь, сидеть на скалах и глядеть, как стремительное течение шумит порогами, взрывается в небо жёлтыми брызгами. И ничего больше. Ни людей, ни забот — только она и камни, и вода, и серое небо над головой. То, что никогда не признавалось

за родину, искренне не любилось и не вспоминалось, превращалось в единственную точку на карте мира, где нужно жить и умереть. Но, вместо того чтоб остаться, Елена уезжала отсюда навсегда.

— Ладно! — грустно бодрилась она. — Заберу с собой по кусочкам, по камешку... Зачем ты его обёртываешь? — отвлеклась на Татьяну, пыхтевшую над бабушкиным стулом.

— Кто нас пустит в вагон с голой мебелью! Хотя какую-то видимость багажа ему придать...

— Кстати, там вырезано чего или нет?

— Вырезано. Буква «Б», если не ошибаюсь. Затёрлась совсем.

— Кто бы сомневался, что — «Б»! Одного себя и любил Борис Владимирович. Где он теперь, жив ли?

— А я разве не говорила? Борис Владимирович мирно доживает денёчки в доме престарелых, километров двадцать отсюда.

— Навестим старца? Время есть. Хотя я устаю жутко после кладбища...

— А ему это нужно? За всю жизнь не соизволил нас разыскать, увидеть, познакомиться. Зачем же тревожить человека.

— Ну почему? Однажды соизволил. Помнишь, мама рассказывала?

— О, да. «Покажи пацанку!» — кричал под окном, а у самого руки в наручниках...

— Тебе его жалко?

— С какого перепугу? Если я хотя бы знала, кто он такой, как жил — не только же по тюрьмам таскался, страдал ли от чего — может, и пожалела бы. А так... Смешно думать про него. Пахан округи, дьяволу брательник, а кончает свои дни в престарелом приюте. И не приставай с дурацкими вопросами! Любишь ты всё идеализировать!

Елена засмеялась.

— Идеализировать? Странное слово... Наверное, ты права. Плюнуть и растереть!

— Вот именно... Всё собрала? Тогда поехали. Ноги гудьмя гудят.

Час назад они вернулись с кладбища, где с трудом отыскивали расплзшуюся бабушкину могилу, готовую в скором времени совсем сровняться с землей.

И через много поколений сорочане продолжали хоронить близких по традициям гражданской

войны и интервенции: наспех, где придется да как получится. Могилы притыкались к дорогам, прятались в глубине лесных полян, группами и поодиночке сырели в низинах. Надгробия смотрели на все стороны света. Хаос и запустение хозяйничали в местах последнего прибежища местных жителей. Редкие ухоженные захоронения только усиливали ощущение бедлама там, где его, казалось, невозможно представить.

Сёстры подсыпали на холмик земли найденным обломком лопаты, положили сверху венки и вернулись к поджидавшему такси.

«Не были тридцать лет, и ещё тридцать можно не показываться», — думала Татьяна, глядя на мелькавшее за стеклом убожище: брошенные финские дома с пустыми глазницами, перепачканные угольной пылью улицы, сгоревшие остановки... Как старшая, она отлично помнила, с каким облегчением и радостью покидали они этот край, пребывавший тогда ещё в очень приличном состоянии. — Жить здесь не полезно для здоровья и психики. И вообще, кому мы тут нужны, зачем? Нам кто нужен?..

...В поезде ей приснился сон. Будто идёт она по дороге в абсолютной пустоте. Ни неба, ни земли, только лента щебёнки под ногами. Вдруг, нарастая и нарастая, завывала пустота, заставляя оглянуться. С трудом, пересиливая себя, Татьяна поворачивает голову и видит,

как бабушкин дом с диким грохотом вздымается на дыбы. Разлетаются в сторону доски, стёкла, кирпичи, из самой середины поднимается столб пыли, похожий на тело, обёрнутое в балахон.

— Бабушка! — в страхе закричала она.

— Здесь я, — слышится шёпот.

Смотрит Татьяна — у вагонной полки стоит баба Катя. В знакомой трикотажной кофте с большими карманами, в фартуке, с зачёсанной налево седой прядью.

— А мама волосы зачёсывала направо, — говорит ей Татьяна и чувствует, как корёжит бабушку упоминание невестки.

— Разве? — скалится бабушка.

— Я точно знаю — направо... Исчезни, бабушка! Тебя же не было никогда! Вас всех не было!

— Были!

«Не были... не были... не были...» — стучали колёса, закатывая в рельсы тонкую чёрную тень.

□

Марина Борисовна ВОРОНИНА —

профессиональный журналист,

член Союза журналистов России.

Родилась и училась в Карелии (Беломорск),

живёт и работает в Нижнем Новгороде.

Публиковалась во многих областных изданиях,

а также в Москве и Праге.

